

Те минуты, когда у журналиста Николая Соустина внезапно сжимается сердце от «неохватимости мира», когда вдруг смолкает вагонный гам и пестрый мастеровой люд, двинувшийся на далекую стройку, отрывается мыслью от своих баулов, курева и дорожных харчей, потому что в мутное окно пробился необычный закат. Писатель обращает наше внимание на то, как чуждые сентиментальности «захолустинцы» смотрят туда, «словно заснув с открытыми глазищами... задумавшись неведомо над чем».

Примерно такие же моменты душевной сосредоточенности переживают и герои лавреневской «Гравюры на дереве», и Курилов из «Дороги на Океан». Иными словами, среди художников, работавших в предвоенные десятилетия, Заболоцкий и Платонов не были одиноки в своем неизменном интересе к напряженным состояниям человеческого духа. Но их выделяла избирательность и острота интереса. Это первое. И второе то, о чем уже говорилось выше: герои Платонова и Заболоцкого рвутся к далекому и вроде бы нематериальному, имея в виду дело. Это обстоятельство для нас особенно важно, разумеется, в сочетании с первым. Почему именно? По той хотя бы причине, что когда подспудные тенденции вырываются наружу, законен интерес к их истокам. Думаю, что перед нами как раз такой случай. Если в самом подходе Платонова и Заболоцкого к «идеальному» началу в человеке видеть перспективную тенденцию, то сегодня она явно активизировалась. Что же именно происходит в сфере ее влияния? Каковы его конкретные формы? Насколько она перспективна для современного искусства? Во всем этом есть смысл разобраться.

ЧЕЛОВЕК ОТ ЗЕМЛИ И ЕГО «ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО»

В адрес вологодского колхозника Ивана Африкановича Дрынова, центрального героя повести В. Белова «Привычное дело», критикой произнесено немало прочувствованных слов. Критикам, как и следовало ожидать, пришлось по душе его доброта, стойкость в испытаниях, сердечная привязанность к родной земле, несконному крестьянскому труду. Что ж, все верно. Иван Африканович достоин всяческих похвал. Но, успокоившись на мысли, что В. Белов подарил нам еще одного «правильного» крестьянина, мы рискуем упустить суть дела.

Кто такой Иван Африканович для тракториста Миш-

ки Петрова? Добрый сосед и собутыльник. А для председателя колхоза? Безотказный работник, покладистый, смирный мужик. К тому же депутат сельсовета. А для уполномоченного из района? Нарушитель, поставивший интересы собственной коровы выше авторитетной инструкции. Как видим, во многих душах отпечатались личность героя — и все по-разному. Правда, достоверность «отпечатков» примерно одна. И ходит Иван Африканович никем, за исключением разве лишь жены Катерины да тещи Евстолии, не опознан, в том числе самим собой. Подобно многим, он втянут в круговорот «привычных дел», скрытой их стороной интересуется мало, в себя заглядывать не привык. Правда, Иван Африканович видит и чувствует значительно тоньше тех же многих, но поэтический образ окрестного мира проникает в него как бы помимо его воли, даже не проникает — постоянно струится в сознании. Так уж он устроен, что всякое будничное впечатление рождает в нем лирический отголосок, и взгляд его скользит вроде бы поверх практических нужд. Недаром жена Катерина, перебирая в памяти ребятишек, и супруга не обошла: «Растут. Девять вот, а десятый сам Иван Африканович, сам иной раз как дитя малое». И автор примерно того же мнения... «Иван Африканович долго ходил по студеным от наста полям. Ноги сами несли его, и он перестал ощущать сам себя, слился со снегом и солнцем, с голубым, безнадежно далеким небом, со всеми запахами и звуками предвечной весны... Иван Африканович шел и шел по певучему насту, и время остановилось для него. Он ничего не думал, точь-в-точь как тот, кто лежал в люльке и улыбался, для которого еще не существовало разницы между явью и сном. И для обоих сейчас не было ни конца, ни начала».

Параллель «Иван Африканович — младенец» может показаться несколько рискованной, как бы наносящей герою моральный урон. Ею, однако, дело не ограничивается. В тесную связь с центральным героем здесь поставлены самые неожиданные «персонажи». Например, корова Рогуля (в одной из глав развернута ее подробная «биография», которая ведется как бы «изнутри», с «позиции» самой Рогули); бревна, сваленные у дома и принимающие молчаливое участие в уличной жизни; мерин Парменка, с которым Иван Африканович ведет доверительные беседы. Понятно, что солидности герою такая компания не прибавляет. Кроме того, упомянутые

«персонажи» выведены, так сказать, на круговую орбиту: рождение — скуповато отмеренный земной путь — неизбежный конец. Кажется, мы попали в странное царство, где каждый шаг предопределен, аналитическая мысль дремлет и только душевная интуиция да трудовой навык возвышают «царя природы» над его рогатым и хвостатым окружением. Забегая вперед, добавлю: наше «кажется» предусмотрено автором, который от главы к главе все глубже вовлекает нас в карусельное кружение судеб, людских трудов и самого времени. . . «Иногда громыхали тяжкие, никого не облегчающие грозы. Найдет, навалится густого замесу надменная туча, ошпарит землю дымящимся ливнем, выметет свои красные клинья, и снова гудут всесветные оводы». Внятно для героев гудут эти оводы, словно само безостановочное время выслало их озвучить его неслышный круговорот. А в холодную пору оводов заменяет ветер, и о ветре будут последние слова умирающей Катерины. «Ветрено, ой, Иван, ветрено как», — станет повторять Катерина, уже отставая от общего движения и чувствуя, почти осязая, обтекающий ее поток времени. Рогуля, оводы, Парменка, ветер. . . Не могу избежать еще одного «кажется». Так вот, кажется, что стихия всепроникающей одухотворенности плотно облегла героя, сблизив его с прочими «невольниками» цикла.

Все новые и новые заботы одолевают Ивана Африкановича. «Привычное дело», — откликается он на их появление. Есть отдаленное сходство с тем, как работающий Парменка кивает в такт шагам. И даже там «кивает» Иван Африканович, где вроде бы и захочешь, да не кивнешь. . . Не в меру расторопные заготовители свезли у него со двора и заприходовали припасенное на зиму сено (время действия повести — примерно 1960 год). Дважды свезли и заплатить не догадались. Как же Иван Африканович? Он застеснялся, забормотал жалкие слова: «Чего уж. . . виноват, значит, дело привычное. Баба смутила, думаю, корова. . .» В общем, и это дело сошло за привычное, и оно не встряхнуло захваченного видениями дрыновского сознания.

С какой же цепкостью держит героя наработанный навык, как властно распоряжается им инерционная сила, которая теперь, когда прочитан эпизод покаяния, перестает быть для нас отвлеченной величиной. . .

Оглядываемся на образные «концентры», которые с самого начала настраивали, тренировали наше восприя-

тие. Да, фронт причинности (прямой и ассоциативной) так глубок, так прочно сомкнут, что п просвета вроде не видно. И если Дрынову суждено пробудиться от своих очарованных снов, то одолеет ли он затягивающую силу привычки? В системе произведения это один из центральных вопросов. И условия, в которых он должен быть разрешен, достаточно серьезны. Теперь о самом моменте разрешения. Во второй половине повести событий так много, что не сразу выберешь главное... Сначала — попытка Ивана Африкановича поискать удачи на стороне и бесславное его возвращение. Да если бы просто бесславное. Прибыл он как раз на похороны Катерины, скончавшейся от удара. Похоронил жену и вскоре сам едва не последовал за ней: заблудился в родном вологодском лесу. Конечно, особенно острым переживанием была для Ивана Африкановича смерть Катерины, от которой он и в мыслях себя не отделял и чьи усилия поддерживали циклическую упорядоченность его трудов и дней. Но вернее сказать: все сошлось одно к одному, и нет больше возврата к привычному прекраснодушному.

Прежде, в относительно спокойную пору, Иван Африканович гнал от себя разные «неделовые» мысли, чтоб не сбивали с шага: «Лучше не думать». Но то прежде. А теперь... «Его как-то поразила простая, никогда не приходившая в голову мысль: вот, родился для чего-то он, Иван Африканович, а ведь до этого-то его тоже не было... И лес был, и мох, а его не было, ни разу не было, никогда совсем не было, так не все ли равно, ежели и опять не будет? В ту сторону его никогда не было и в эту сторону никогда не будет. И в ту сторону пусто и в эту. И ни туда ни сюда нету конца-края... А ежели так, ежели ни в ту, ни в другую сторону ничего, так пошто родиться-то было?» Да, мысль и в самом деле «простая». Если рассматривать ее как «посыл» в рассуждении. Но Иван Африканович менее всего склонен логизировать. Ему и жить-то осталось, по его расчетам, совсем чуть: кругом лес, два дня крошки во рту не держал, силы на исходе. И тут эти вопросы, даже не вопросы — почти что мышечное ощущение, будто взглянул выше обычной черты, и все переменилось вокруг. А ум вроде и не главный в деле, он только слова подбирает. Огорчительно это или нет, но герой В. Белова вряд ли научится мыслить четкими формулами. Даже в момент резкого душевного сдвига, когда мир для него впервые распался на «я» и «не-я», он решает отвлечен-

ную задачу не через соображение, а через воображение, не дает абстракциям отделиться от чувственного опыта (если человек, привыкший мыслить категориями, скажет: «конечность индивидуального бытия», то Иван Африканович — «в ту сторону его никогда не было и в эту... не будет»).

Характерно, что новый Иван Африканович, тот, который решает задачу, не собирается рвать с прежним — слегка блаженным созерцателем, и не будь созерцаний, не было бы и нынешних вопросов. Впрочем, сказав «новый», мы несколько опередили события... Вслед за вопросом «стоило ли родиться?» перед мысленным взором Ивана Африкановича возник иной ряд образов-представлений — в развитие прежних: «Ну, а другие-то, живые-то люди? Гришка, Анатошка вон? Ведь они-то будут, они-то останутся? И озеро, и этот проклятый лес останется, и косить опять побегут. Тут-то как? Выходит, жись-то все равно не остановится и пойдет, как раньше, пусть без него, без Ивана Африкановича. Выходит все-таки, что лучше было родиться, чем не родиться. Выходит... Нет, надо идти. Идти, выбраться...»

Вот сидел, привалившись к дереву, обессиливший человек и думал старую, как мир, думу о бренности собственного бытия и вечном движении жизни, такую вроде бы далекую от потребностей минуты думу, а потом откуда-то взялись силы продолжать путь. Видимо, немалая энергия заключена даже в малой частице того «общего знания», о котором писал Андрей Платонов. Конечно, если это именно знание, если оно, как у Ивана Африкановича, слилось с полифоническим ощущением мира и если к нему протянулись те же тончайшие рецепторы, что улавливают гудение «всесветных оводов», и предсмертную тоску Рогули, и первые голоса «предвечной весны».

Заметим, картина лесных мытарств Ивана Африкановича строится на подчеркнуто укрупненных планах. Точка наблюдения то высоко над вершинами деревьев («А лес и взаправду возмущенно, таинственно обволакивал своим шумом светлую каплю костра и маленькую фигуру человека»), то резко смещается вниз, и тогда на линии нашего взгляда уже не «капля костра», а просветы в облаках («Сквозь мглу из темных вершин колола прямо в лоб острая холодная звездочка. Она была одна, ее тут же затянуло тучей...»). Кроме того, в самом строе авторской речи заметно накопление «космич-

ческой» лексики («безбрежный водяной вал», «всесветный шум», «вал безбрежного шума»), встречавшейся и прежде (вспомним «всесветных оводов» и «предвечную весну»), но в ином, менее напряженном контексте. Вполне конкретная ситуация — заблудившийся в лесу крестьянин наедине со своими мыслями, — оставаясь житейски достоверной, как бы отбрасывается на широкий экран. И на нем проступает ее внутренняя формула: простой человек, в мире отвлеченностей заведомый неспециалист, обретает душевную устойчивость, поразмыслив над «вечными» вопросами и ощутив себя необходимым звеном в общей системе бытия.

Так кто же, собственно, Иван Африканович Дрынов — «правильный» крестьянин, надежный «сеятель и хранитель», стоящий на страже земельного дела и нерушимости сельских основ? Видимо, роль хранителя — лишь одна из доверенных ему художником, притом не самая главная. Стоит вспомнить тех, кто противостоит у В. Белова Ивану Африкановичу. Это прежде всего ретивый уполномоченный, отбирающий у колхозников сено; отпускники, отправшие от сельского мира и приезжающие сюда погостить «с богатыми чемоданами, с похожими друг на дружку, по-сиротски отрешенными ребятишками»; местные пропойцы и халтурщики, вроде тракториста Мишки Петрова. Что именно роднит между собой означенных граждан? Хилость корневой, так сказать, системы, равнодушие к исконному труду отцов и земле-кормилице? Верно, роднит. И это главное? Да, если мы убеждены, что центральная проблема «Привычного дела» — стоять русской деревне или быть поглощенной городом? Если же рассматривать антиподов Ивана Африкановича на уровне лирико-философской идеи повести, то они прежде всего воплощенная бескрылость духа, люди-функции, лишенные поэтического зренья и элементарного интереса к нравственному миру другого. Что же до Ивана Африкановича, то в общей системе замысла он не просто тип стабильного, «пенско-ренного» земледельца, а в первую очередь человек, для которого всякая материя жива и открыта либо готова открыться его душевному опыту, хранитель традиции грамотного обращения с жизнью, умеющий слушать и постигать ее собственные требования...

В воспоминаниях В. Вересаева приведено характерное рассуждение Льва Толстого: «У китайцев есть слово «шу». Это значит — уважение. Уважение не к кому-

нибудь, не за что-нибудь, а просто уважение — уважение ко всему за все. Уважение вот к этому лопуху у частокла за то, что он растет, к облачку на небе, к этой грязной, с водою в колеях дороге. . . Когда мы, наконец, научимся этому уважению к жизни? . . .»¹

Для героя В. Белова то «уважение к жизни», о котором говорил Толстой, — не правило или принцип, а просто внутренняя данность, черта его мироотношения. Если учесть специфику нынешней «ядерной эпохи», то перед нами не столь уж отвлеченный критерий общественной надежности человека.

...НО ВЛАСТИТЕЛЬ СЕРДЕЦ

«Побелела на синеве неба дальняя полуразваленная церквушка, на горизонте, над гребенчатым лесом перевернулся с боку на бок по-стариковски капризный гром, притихла рожь на придорожном клону, еще назойливей стали мухи, и вдруг все затихло. Но вот набежал и запутался в траве ветреный холодок, дунул и настоящий ветер. . .» Я опять цитирую В. Белова, только не «Привычное дело», а один из сравнительно ранних рассказов писателя «Вовка-сатюк». По поводу приведенных строк можно сказать, что они хрестоматийно совершенны. И это будет справедливо. Можно попутно отметить особенности знакомого нам «почерка»: ровно-напевный речевой лад, приспособленный к людскому, точнее — крестьянскому, опыту образ пространства, чувственную достоверность подробностей. Можно, наконец, предположить, что синева неба и дальняя линия леса тоже намекают на присутствие здесь второго, лирико-философского плана. Нет, таких ожиданий рассказ не оправдывает. «Вовка-сатюк» — лирическая хроника, серия эпизодов из жизни городского мальчика, приехавшего на лето в деревню, где каждый шаг сулит ему открытия. Все повествование пропитано воздухом деревни, не деревни вообще, а именно северной, вологодской. Авторский рисунок настолько достоверен, что незнающий и небывавший узнает и прочувствует. И еще. . . Хотя рассказ вроде «не про то», в нем звучит щемящая мелодия сыновней грусти о тепле родного очага, который не сегодня завтра начнет выстывать. . . И никаких скрытых «сверх-

¹ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1955, с. 167.